

Обратная перспектива*

... — Константин Дмитриевич, — уныло попросила Снежана, — заделал бы забор. Опять наркоман свалился замертво на нашем участке.

Плющ сдунул опилки с резной рамы, помял замшевую тряпочку.

— Это, Снежана, традиция, — вздохнул он. — Можно сказать — культура. Милицию вызвала?

— Та вызвала.

— Ладно. Менты уедут — заделаю.

— Вы всегда так говорите...

Плющ рассмеялся:

— Что я могу поделать, Снежаночка, если менты никогда никуда не уезжают.

Художник Константин Плющ еще недавно был знаменит. Мягкая тихая слава стояла над ним, как погода в сентябре. О нем не писали в газетах, не брали интервью на телевидении, но непостижимым образом на всем пространстве от Одессы до Питера имя его было на слуху.

Никто не мог определенно сказать, каков он как художник, определить качество, манеру и направление в его живописи, но если человек стал легендой, — какая разница, что он делает и как...

В последние годы осевший в городе Кимры Плющ почувствовал, что слава его кукожится, сокращается географически, но не тает, а даже сгущается, меняется качественно, становится наконец светом в окошке.

Окошко светило в маленьком доме из силикатного кирпича. Он был построен в девяностые годы специально для Плюща деловым немцем из Кельна. Почему немец и почему Кимры — об этом позже, но так или иначе, дом был оценен немцем в три пейзажа Константина Дмитриевича.

Покупатель хорошо пил водку, показывая фотографии своих детей и открытки с видами Кельна. Плющ был восхищен Кельнским собором, удивлялся, развлекая немца, что соорудили его на вокзальной площади, поражался долгострою.

— А чтобы его почистить, — размышлял он, вглядываясь в фотографию, — нужно еще лет триста. Представляешь, сколько у нас за это время можно разрушить?

* Фрагменты романа: Гарри Гордон. Обратная перспектива. Москва. "Луч", 2009.

Очень скоро, разобравшись, Плющ клял своего благодетеля на чем свет стоит — участок в четыре сотки стоял прямо на тропе наркоманов, между вокзалом и цыганской слободой — осевшим табором.

Молодые наркоманы, как муравьи, ведомые генетической памятью, не сворачивали, а перли напролом, круша заборы. Табор, где продавались наркотики, назывался Голливудом. В мирных, на первый взгляд, недрах его с курятниками и голубятнями, козами и цепными псами воплощались мистические триллеры, социальные драмы, трагикомедии и фарсы. Говорят, что название это придумал сам Сергей Петрович, цыганский барон, а попросту пахан, цинично имея в виду грезы, приносящие реальные деньги. Барон жил в затейливом особняке в центре города, напротив мэрии. Он не открывал ногой, как говорили злые языки, двери городского начальства, а входил туда тихо, неохотно и редко — бездарные чиновники его удручали. Мэр же на призывы общественности разорить этот гадюшник, сровнять с землей, закатать асфальтом только руками разводил — "Голливуд", в основном, формировал бюджет города, это вам не обувная фабрика, а километр асфальта знаете, сколько стоит?..

На свет в окошке Плюща слетались местные интеллектуалы, коллекционеры, художники, поэты и просто бездельники — то, что раньше называлось богемой, а теперь — элитой. Толклись они в городской библиотеке под вывеской шахматного клуба, а к Плющу залетали поодиночке. Впрочем, по пятницам за ним заезжали и отвозили в клуб, где художник Плющ Константин Дмитриевич проводил мастер-класс. Закалка одесской богемы сказывалась, и шестидесятилетний Костя держался дольше других.

Скоро он заподозрил, что развлекает балбесов, а развлечение такого рода — деликатная форма хамства.

— Знаешь, Снежаночка, — высоким от обиды голосом жаловался он жене, — благотворительность имеет смысл только в материальном выражении. Конкретный взнос в конкретное дело. А вкладывать душу — хоть в просветительство — сколько надо той души? Кило, полтора? Так и пролететь можно. Еще должен останешься.

И Плющ нашел выход — по пятницам он приезжал по-прежнему, но откупался небольшой картинкой в дар обществу и с полным правом пил молча.

Картинки — точнее, этюды — он писал загодя, месяца на два вперед, одной, разумеется, левой. Это был либо морской пейзаж, либо розовая обнаженка, либо натюрморт с рыбками.

— Достали меня эти Васюки, — приговаривал художник, имея в виду любителей шахмат.

Тем не менее, по пятницам он неизменно надевал белую рубаху и старинную фетровую шляпу. Маленький, смуглый, с седой бородкой, он походил на степного ветеринара.

Снежана, сорокалетняя молодая поэтесса, полуцыганка, отвоеванная Плющом у Васюков, только вздыхала: Костик давно ничего не писал серьезно.

— Картина жизни, Снежаночка, давно написана и уже подсохла. Осталось обуть ее в хорошую раму.

И, хороший ремесленник, Плющ ковырял на рамках коллекционным инструментом растительные орнаменты. Рамы покупали неохотно — цена доступна, не живопись, но в то же время работа знаменитого мастера, а это накладывает дополнительные обязательства, призывает к другому образу жизни.

Со слетавшимися на свет поодиночке Плющ был приветлив: "Гостеприимство, Снежаночка, у нас никто не отнимет — ни комсомольцы, ни олигархи". Хотя, конечно, доставали и здесь. Особенно настырным был Лелеев, обалдуй со стеклянными глазами. Он величал себя князем, потомком декабриста, и настаивал, чтобы так его называли другие, и почти в этом преуспел, но захвативший прошлой осенью Карл (надо же, нашелся через двадцать лет) объяснил, что Лелеев — фамилия не дворянская, а приютская, для подкидышей, что-то вроде Безродного, и декабристы терпели разночинца только по идейным соображениям.

— Константин Дмитриевич, Лелеев пришел, — объявила Снежана.

Плющ вытер руки о штаны и надел пиджак.

— Проходи, сраный разночинец, — приветствовал он. — Снежана...

Снежана уже ставила на кухонный стол холодную картошку в мундире, квашеную капусту, селедку с луком, полбутылки водки.

Лелеев, усмехаясь в потолок, вытащил из кармана брюк бутылку "Путинки".

— Сплетничать будешь? — осведомился Плющ.

— О ком сплетничать, Плющик...

— Не Плющик, а Константин Дмитриевич, — нахмурилась Снежана.

— Ну да. Вот я и говорю, Дмитрич, эти козлы только порочат славное звание провинциалов...

— Со свиданьем, — Плющ поднял стакан. — Снежана, ты будешь?

— Я — потом как-нибудь. Голова разболелась. Пойду прилягу.

— С богом, — одобрил Константин Дмитриевич. — Ну, так что у нас с провинциалами?

— Я так понимаю, Дмитрич, что провинция — это духовная целина, которая кормит столицу... Это кровеносная система, которая...

Плющ вышел и вернулся с маленьким зеркальцем.

— Смотри сюда, разночинец. Вот эта морда именуется провинциалом?! Это же чистый люмпен.

Он отложил зеркальце и печально выпил.

— Дожили. Кимры ему провинция. Провинция, Лелеев, это Одесса или Флоренция. Провинциальнее Одессы может быть только Питер...

...Плющ завязал галстук, взгляделся в зеркало и вздохнул:

— Что делается? Я был, Снежаночка, похож на мачо. Как там... Бэ самэ мучо. А теперь — чистый дедушка Мичурин. Одно лицо.

— Это потому, что вы добрый, — отозвалась Снежана. — Иди с богом, водитель уже сигналит.

Бизнесмен Надежда попросила Константина Дмитриевича посмотреть работы своей дочери — есть ли у нее талант, стоит ли заниматься, а если стоит — не подготовит ли он ребенка к поступлению в художественное училище. Занятия раза два хотя бы в неделю, за приличные, разумеется, деньги. А то и без таланта — возраст у девочки опасный, что ей болтаться по Кимрам, вокруг грязь, криминал и "Голливуд".

— Хорошо бы, — вздохнула Снежана.

Постоянная нехватка денег душила и старила ее.

Пенсии Плюща и ее зарплаты офис-менеджера, а попросту уборщицы, хватало на оплату коммунальных услуг — ничего себе услуги, удобства во дворе, — и, пожалуй, сигареты — курили они оба здорово. Деньги от изредка продаваемых резных рам считались шальными и тратились быстро и вдохновенно.

Морская рыба дорожает с каждым днем, а Костик речную не ест — пригорная, говорит, и сладкая. В Москве хорошо, там выбор, а здесь — скумбрия мороженая да мелкая камбала, и то не всегда. "Вот уж воистину, Москва — порт пяти морей", — Снежана кисло улыбнулась своей шутке — что-либо придумать приходилось редко, а стихи не сочинялись уже давно...

...Когда проехали мост и остановились у двухэтажного особняка деревянного барокко, Плющ затосковал. Какой из него преподаватель, он и сам сроду не учился, и учителям не доверял.

Учитель, по его мнению, это неудачник, не справившийся с профессией или судьбой.

Если что-то умеешь — делай себе, кто мешает, а не можешь — нечего

пудрить мозги другим. Если речь идет о передаче опыта, то у меня нет опыта. Только возраст. Я из него состою, и отдавать нельзя — рассыплюсь.

Но поднявшись на второй этаж и позвонив, Константин Дмитриевич вдруг ощутил острый восторг от осознания своего несовершенства и возможности начать все заново.

Окончив четыре класса и работая подмастерьем у печника, Плющ и не помышлял об учебе в художественном училище, но там учились его друзья — и Карлик, и Кока*, — все равно приходилось там болтаться и писать постановки, и спорить, — правильнее было бы все-таки поступить.

Требовался аттестат зрелости: в этом случае не нужно было сдавать общеобразовательные предметы — диктант Костик завалил бы обязательно. В крайнем случае, годилась бы справка об окончании восьми классов. А диктант — пацаны что-нибудь придумают, Карлик подбросит.

Документы — подлинные, разумеется, — продавались на Староконном рынке. Аттестат стоил двести пятьдесят рублей, справка — сто. Деньги немалые, но скопить можно. Только какой же ты художник, если копишь деньги, вместо того чтобы пить белое сухое, без которого не докажешь, что Сальвадор Дали — просто гамно.

Однажды в конце мая Плющ ворвался в мастерскую сияющий.

— Где пропал? — спросил Карл.

— А я, пацаны, бабки делал. Неделю раствор месил. И в результате — у меня на кармане триста карбованцев.

— Аттестат! — строго сказал Кока.

— Ну да. Причем свежий. Урожая этого года. Когда у них там выпускной?.. В воскресенье — на Староконный. Только, мальчики, поедем вместе. А то мне туфту двинут — я того аттестата в глаза не видел.

Кока достал из кармана мелочь, сдул табачные крошки.

— У меня рублей шесть, — отозвался Карл.

— Ребята, а я? Я в доле.

Кока пасмурно оглядел Плющика.

— С тебя тридцатник. И больше не вздумай.

Взяли три бутылки вина, три пачки болгарских сигарет "Витоша", кружок полтавской колбасы и буханку черного хлеба.

Отцветала уже сирень, но над ее синей листвой колыхались и шумно дышали огромные груды белой акации, в ее сладком запахе возвращались смутные детские печали. А когда этот запах смешивался с запахом мор-

* Кока — Николай Лебединский, один из троицы друзей-студентов Одесского художественного училища. Его, Николая Морозова и Гарри Гордона мы называли Кока, Мока и Гога.

ской воды, еще прохладной и потому особенно свежей, тянуло сделать что-нибудь глупое и необъяснимое.

Под Аркадией на диком пляже горел в пещере небольшой костер из плавника, на гибких веточках дрезвы покачивался над огнем шашлык из колбасы и хлеба. Колбаса шипела и лопалась, жир капал на гладкие, обточенные морем деревяшки, и капля долго чернела, пока деревяшка не обгорала.

О живописи — это слишком серьезно, об этом потом, вечером, в пустом гулком коридоре под статуей Лаокоона. А сейчас — акации гонят волну, волны эти сталкиваются над берегом с волнами прибоя, мерещатся в этой зыби пленительные образы.

Девушки на курсе, конечно, никакие. Одна — дура, с вечно вздетыми ручками и круглым животом, похожа на примус. Другая — красивая, ничего не скажешь, только уж слишком распушенная, опасная, гуляет с фиксатыми жлобами, старыми, лет под тридцать. А эта вообще — комсомолка с тонкими ножками и бородавкой на губе. Римка, конечно, ничего — веселая, талантливая, с крепкими ногами и низко посаженным задом, а двигается, как американский авианосец "Кирсардж". Только и с ней говорить не о чем — темная, как антрацит, с какого-то хутора под Херсоном.

— Вот мы привередничаем, — грустно сказал Кока, — а женимся в результате на каких-нибудь кугутках.

— Я не женюсь, — похвастал Плющик. — Я, как приспичит жениться, ую себе буду обрубать, вроде Ван Гога.

— Это сколько тебе ушей понадобится, — рассмеялся Карл. — И вообще, — ты Ван Гог с отцом Сергием перепутал.

— Тихо! — Кока приложил палец к губам и насторожился. Все замерли.

— Нет, показалось, — сказал Кока.

Карл знал, что не надо расспрашивать. Показалось — и показалось. Он выполз из пещеры — и задохнулся, как от хорошей новости: шелестела и клокотала в прибое галька, впереди — полное лето каникул, ему — восемнадцать, а до женитьбы — как до того Лузановского мыса, что висит над горизонтом светлой охрой с разбеленным ультрамарином в лощинах.

Кока взобрался на скалу и подбрасывал в воздух остатки хлеба. Чайки кружили над ним, оведали крыльями щеки, сиделись на плечи, зависали над головой, царапали светлые волосы, Кока хохотал и разбрасывал руки. Внезапно он затих.

— Стоп! А где Плющик?

— Мало ли... Зашел за скалку.

Кока спрыгнул с камня.

— Ты — туда, а я — туда.

Карл посмотрел на море — да нет, Плющик сдуру туда не полезет, он и в теплой воде не очень-то... По гальке и по песку, перебираясь через осыпи и завалы, заглядывая в пещеры, мимо бледной парочки, недовольно поглядевшей вслед, Карл обошел несколько бухточек и вернулся к угасшему костру. Через некоторое время подошел Кока.

— Ну?

— Слинял, гад.

— Это кто слинял? Это кто гад?

Светящимся силуэтом Плющ возник в проеме пещеры, торжественно вынул из-за пазухи темную бутылку кубинского рома.

— Плакал аттестат зрелости, — обреченно кивнул Кока.

— А ром — он и есть сама зрелость, — возразил Плющик, — напиток настоящих мужчин. Ничего, Кокочка, на справку осталось. Ты ведь, Карлуша, диктант подкинешь?

Швыряли камни, целились в сигаретную пачку, жменю гальки подбрасывали таким образом, чтобы она, входя в воду, произносила: "Бурлюк!". Спорили, у кого лучше получается. Пили за настоящих мужиков — дядю Хэма, Поля Гогена, Александра Грина.

— Я вам скажу хорошую новость, мальчики. Этих бабок все равно бы не хватило. Я узнавал — с этого сезона аттестат стоит пятьсот...

...К северу от Одессы, километрах в тридцати, — деревня Сычавка. Теперь там аммиачный завод, градообразующее предприятие.

От автобуса через высокую польнь около километра до обрыва. По петляющей белой дорожке вниз, в довольно широкую бухту между двумя мысами. Костику двадцать лет, он работает с лучшим художником Одессы, Юрием Николаевичем*. Только что они закончили мозаику в кондитерском магазине "Золотой ключик". Предполагалось, что в Сычавке Юрий Николаевич будет писать, а Костик — учиться.

Художник-монументалист Юрий Николаевич не признавал маленьких размеров — пачки метровых холстов на подрамниках волокли они на спине от автобуса. И большой этюдник на дюралевых ножках, и маленький этюдник Костики, подаренный учителем.

Серое горбатое море, синий мыс, черный рыбацкий баркас.

* Юрий Егоров, оказавший большое влияние на становление художника Хруща.

— Завтра, Костик, будем писать тебя. Во весь рост.

Коричневый Плющ в серых плавках на белом солнцепеке, с оранжевой дыней на ладони. Короткая тень под ногами, пот стекает из-под черной челочки, заливая глаза.

— Дядя Юра, может быть, я не хохол, а китаец?

— А почему не японец? — не отрываясь от холста, отвечает дядя Юра, недовольный, что его отвлекают.

— Не. Японцы рычат отрывисто, жилы рвут. А у меня "мяу" хорошо получается.

Жили в палатке, ели мало, экономили. Подростающий Плющ был все время голоден.

Крупная желтая слива пляшет на волне прибоя. Откуда ее принесло — Карлик бы напридумал с три короба, включая пиратов. Но это дар моря, и его надо немедленно схватить. У Костика свело челюсть. Он огляделся — дядя Юра смотрит, неудобно. С независимым видом зашел в воду, подобрал сливу и, как бы играя, бросил подальше. Подплыл по-собачьи и, спиной к берегу, съел, смущенно улыбаясь. Слива оказалась невкусная, водянистая.

Поработав часа три, Юрий Николаевич ложился на песок, подложив руки под голову, смотрел в облака. Костик в сторонке торопливо, как обедают преданные денщики, писал этюд. Юрий Николаевич встряхивался, шел купаться, подходил, мокрый, садился рядом на корточки, давал советы. Иногда пальцем размазывал линию горизонта.

Уезжали поспешно — третий день моросило. Вырыли в песке яму, обмотали холсты целлофаном и мешковиной и зарыли. Сверху положили приметный камень. Через несколько дней Юрий Николаевич пригонит машину, увезет.

Желтая приморская собака пробежала трусцой через бухту. Обнюхала место, где недавно стояла палатка, подошла к камню и задрала заднюю лапу...

...Карл зажмурился и начал:

"Теплая стоячая вода временами покрывается пленкой сала. Случаются заморы — не хватает кислорода. Рыба либодохнет, либо "делает ноги".

Косте Плющу кислорода хватало. Он сам его вырабатывал. Просто ему не нашлось места. Одесситы умеют угощать, но не любят делиться.

В Одессе слишком длинная скамейка запасных. Прибегаю к этому футбольному термину, потому что так, к сожалению, понятнее.

Плющу помахали ручкой, сотворили его образ и повесили на стенку.

Образ каши не просит. Костю Плюща сделали легендой прижизненно. Легенда разрасталась, поджимала судьбу, вытесняла ее, оставляя судьбе самое неблагоприятное — физическое выживание...

Он слишком рано стал профессионалом, а профессионализм — это планка, ниже которой нельзя, а выше — как получится. И если обычно художник выжимает из себя ученичество, Плющ последовательно выжимает из себя профессионала. Потому что много званых, да мало избранных. Потому что профессионал — человек бывалый, а Плющ — небывалый человек.

Уход его из южнорусской школы можно объяснить по-разному. Я не собираюсь этого делать — на то есть искусствоведы. Хотя если человек стал легендой — так ли уж важно, что он делает и как... Знаю только, как обидно бывает художнику, когда его хвалят за пустяки и не замечают главного. Знаю только, что многочисленные обнаженки и рыбки — тема неприкаянности и сиротства..."

"Ерунда какая-то, — остановился Карл. — Что-то среднее между пре-дисловием и некрологом. Ладно, потом разберемся. Поехали дальше"...

Плющ, не просыпаясь, привычно протянул руку, но тут же отдернул и проснулся — ладонь легла на что-то упругое и холодное.

Бирюзовая резиновая грелка в виде рыбки лежала чуть пониже соседней подушки.

В последнее время Снежана взяла себе моду — уходя на работу, оставлять вместо себя горячую грелку.

Плющ помалкивал: это было глупо и трогательно, но витало при этом ощущение подвоха, дуновение, знакомое и неприятное, как запах чеснока в автобусе.

На этот раз он проснулся позже обычного, и от грелки веяло отчаянным подземным холодом.

"Нет ничего страшнее, — думал Плющ, разглядывая легкомысленную раздутую рыбку, — труп воды, мертвый натюрморт, смерть после смерти".

Еще недавно мысли о смерти Плюща не трогали — ну, шестьдесят так шестьдесят, были же Ренуар и Клод Моне, Тициан, наконец. Но хронический кашель курильщика приобрел в последнее время пугающую интонацию, и Константин Дмитриевич все чаще смотрел с бессмысленной тоской в белое небо.

На самом деле в умирании нет никакой прелести. Ничего творческого. Это даже не поступок. И стоило ли всю жизнь отстаивать свою отдельность, чтобы тебя в конце сгребли под одну гребенку. Это даже не событие, в том смысле, что нет ни сюжета, ни драматургии, ни торжественной куль-

минации, когда захватывает дух обратный отсчет: три, два, один — старт! Нет никакого старта, только раздражение, страх и стыд.

Вздохнув, Плющ решил вспомнить о хорошем. Хорошее было: бизнесмен Надежда заказала три резные рамы, рамы готовы, и сегодня их заберут. Интересно, сколько она заплатит.

Он прошелся по мастерской и сел в кресло. Плющ садился в него, когда пребывал в замешательстве, и приходил в себя, глядя на этюд Кандинского, писанный с натуры в ученические годы.

Этюд этот он приобрел давно, на Староконном рынке, выменял на карманый "мозер" без стрелок. При этом продавец Кандинского обещал Плющу небольшого Шикельгубера, то есть Гитлера, если Костик достанет ему брегет в приличном состоянии.

Во были времена! Всего-навсего лет тридцать тому назад.

Серый бережок и розовое море Кандинского на этот раз отозвались в Плюще острым приступом тоски и неприкаянности. Из кухни потянуло печальным запахом гниющих водорослей. Константин Дмитриевич выморгал слезу и удивился себе:

— Ну, ты даешь, Плющик.

Дело не в натурном пейзаже, это скоро понял и сам Кандинский: с натуры писать — только пачкать. Художник и натура существуют параллельно и самостоятельно, подпирая и уважая друг друга.

Так в чем дело? Неужели и вправду поддаться уговорам и двинуть в Одессу? Карла, судя по всему, не поедет. Конец сентября на носу, а от него ни слуха ни духа. Что-то он сторонится прошлого. Не нам судить — может, зажрался, ничего страшного. Человек, у которого новые зубы, имеет право на особое мнение.

Стукнула дверь, и появился Паша.

— О, Криница, — обрадовался Плющ. — Ты, как всегда, вовремя. Как ты здесь? Ты же где-то в дыре, у безрукого...

— Да там делов всего... шесть колец. Вырыли на раз. А безрукий, Константин Дмитриевич, оказался твой кореш, Борисыч. Только он не безрукий, разве что в технике. А так — просто не хочет. По барабану. Я, говорит, полжизни отпахал физически и устал. Пальцы вон скрутило от цементного раствора.

— А, да, — вспомнил Плющ. — Мозаика — каторжная работа. Представляешь — леса шаткие, доски ненадежные, навернешься — только так. И ящики со смальгой таскать с яруса на ярус, килограмм по двадцать, и скакать все время — вниз-вверх, иначе не увидишь, что ты там навалял. Хорошо, я вовремя соскочил. А скажи, Криница, — говорил он, — собирается ли в Одессу?

— Вряд ли. Квасит с местными мужиками по-черному. Куда ему.
— Ну, ладно, — с непонятым облегчением вздохнул Плющ.
— Дмитрич, извини, я пустой. Подумал — день только начинается.
— Как начинается, так и закончится. Все в наших руках. Пошли на кухню.
"Окно надо помыть, — отметил Плющ, открывая холодильник, — совсем серое".

— Клевая у тебя работа, Пашечка, — Плющ выпил и мечтательно приступил к рассуждениям. — Если порыться, сколько еще нужно колодцев. И для прошлых людей тоже. В порядке реабилитации... или компенсации? Тьфу, совсем заврался. А давай, Криница, инсталляцию сделаем. В духе времени.

— Зачем?

— Нет, ты слушай. Давай мы на моей могилке — представляешь, желтая глина с белыми камушками — поставим деревянную криницу. Сруб и журавль.

— Журавль, Костя, нельзя, — рассудил Паша, — слишком громоздко. Зачем лупить противовесом по клиентам... по скорбящим?

— Тоже верно. А жалко — красиво было бы. Ну, тогда ворот. Представляешь, приходят Карла с Кокой, крутят ворот, а из криницы в деревянной бадье — деревянный Плющик, ручкой машет. Маленький такой, меньше этого. Я вырежу.

В дверь постучали.

— Я сейчас.

Плющ торопливо вышел в прихожую. На фоне дотлевающих берез возник крупный синий силуэт.

— Как красиво, — сказал Плющ. — Вы ко мне?

— Константин Дмитриевич? — с сомнением спросил силуэт. — Меня прислала Надежда.

— Проходите, — Плющ изобразил реверанс. — Водки выпьешь?

— Я ж за рулем, — отмахнулся водитель. — Тут рамы какие-то...

Плющ кивнул и вынес рамы, обмотанные тряпочкой и обвязанные веревочкой.

— Осторожно только, не побей. До машины донести?

— Я уж сам как-нибудь.

Водитель окинул взглядом шустрого старичка, достал из кармана конверт.

— Это вам.

— Большое спасибо, — поклонился Плющ.

— И еще, Надежда просила прибыть к ней на вечеринку. Часов в семь. С супругой.

Плющ представит темень и слякоть, и ветер на мосту...

...Заговорили о Плюще. Константин Дмитриевич, рассказывал Паша, нездоров, кашляет как-то не так, не тем кашляет, слабеет, больше трехсот грамм уже не тянет, часто раздражается. К врачу — попробуй вытащи...

— Это мы проходили, — сказала Татьяна и посмотрела на Карла.

— А главное, — продолжил Паша, — не пишет ничего. В Одессу собирается. "Мы, говорит, поедем с Карлой в конце сентября. Уже условились".

— Да, год назад, — вздохнул Карл.

Выпили за Плюща, Константина Дмитриевича, за Одессу, которая ждет его не дождется. Нужно было сменить невыносимую эту тему...

...Дома Плющ не находил себе места, не знал, что делать: то ли пить дальше и слушать уговоры Снежаны — про Одессу, то ли заснуть, и — утро вечера мудренее.

Все решил Лелеев, ворвался с белыми глазами, но не от пьянства, а от возбуждения и решимости.

— Дмитрич, — сказал он, не глядя нащупывая стол бутылкой водки. — У тебя есть этюд, самый завалиющий?

— У Константина Дмитриевича не бывает завалиющих этюдов, — нахмурилась Снежана.

— Да подожди ты, — отмахнулся Лелеев, — дело серьезное.

— А у меня, Лелеев, все завалиющие, — усмехнулся Плющ, — а что?

— Очень нужно. Мне срочно нужен подарок.

Лелеев достал из кармана триста долларов.

— Отрежь на эту сумму. Говорят, ты в Одессу собрался?

— Какой же ты, Лелеев, дураком, — умилилась Снежана, — дай я тебя поцелую.

— Да я хотел... зубы, — пробормотал Плющ, чувствуя, что сдается.

— В жопу зубы! — заорал Лелеев. — Наливай!

— Нет, что происходит, — начал Плющ, когда они уселись за столом как следует, под закуску, — поезжай, говорят, на родину. А родина, Лелеев, это когда тебя выпихивают. Это место, где тебе нет места, — Плющ рассмеялся. — Видишь, развеселился на старости лет хоть сейчас в Клуб, падла, веселых и находчивых.

Лелеев с серьезным лицом переждал это лирическое отступление.

— Да кто выпихивал? — спросил он. — Иностранцы? Жида? Черножопые?

— Свои же и выпихивают. Они твою родину больше тебя любят, а ты еще и виноват. А единственное, что я имею в Одессе, — так это дом в Кимрах. А теперь еще и вы. Тоже выпихиваете. Выходит, родина здесь. А что, классно: летом здесь Левитан, зимой — Саврасов.

Внезапно лицо его погасло, как тусклая лампочка в привокзальном туалете:

— Как же я поеду, Снежаночка, без тебя?

— Вы же знаете, Константин Дмитриевич, меня уволят, если я сейчас уеду. И так... Я подумала — может, тебе захочется побыть одному, походить, повспоминать...

— Очень хочется, — простодушно сказал Плющ.

— Ну вот, а я в конце вырвусь на несколько дней, заберу тебя. А жить будешь у Коренюка в мастерской.

— Откуда ты знаешь?

— Так я созвонилась. Одесса тебя ждет, Константин Дмитриевич, — Снежана победоносно выпила рюмку.

— И не сказала?

— Я же вас боюсь.

Догадавшись, что его решимость ехать бесповоротна, Плющ стал капризничать:

— Только никаких самолетов. Просто не люблю, когда меня перевозят. Сидишь, как горошина в стручке. И курить нельзя.

Он встал, прошелся по кухне, потом нырнул в мастерскую и вышел с любимой трубкой и табаком. Трубку он курил в минуты особого самоуважения.

— Пересох табак, зараза. Надо чаще пользоваться. В конце концов, пора выгулять белые штаны. Ты знаешь, Лелеев, какие у меня штаны? Очень даже хорошие. Представляешь, тонкая фланель, английская.

— Сроду не видел, — глупо сказал Лелеев.

— И не увидишь. Как я могу их здесь носить! В Кимрах белые штаны выглядят вызывающе, как лимузин. А в Одессе — это будет символ моей успешности.

— Успешности! — с досадой сказала Снежана. — Они от вас выставки ждут. Даже название уже придумали: "Возвращение".

— Вот суки. Да вы погодите, может, еще билетов не будет. С Одессой всегда проблема... А в общем вагоне я не поеду.

— Вот, блин, Багрицкий нашелся! — рассердилась Снежана. — Помнишь, как он с Катаевым торговался? Ты б еще спросил: "А кушать?".

— Кушать меня не колышет.

— Так вот. Билет уже куплен. И оплачен. Купейный. Осталось его забрать в кассе на вокзале. Поезд послезавтра, в пятнадцать десять.

— Как же?..

— А так. По Интернету. Иногда, Константин Дмитриевич, надо слезать с пальмы...

Плющ вспомнил холодную грелку и помрачнел:

— И долго ты будешь прыгать с ветки на ветку?

Лелеев почувствовал приближение скандала и громко чихнул.

— Будь здоров, князь, — отвлекся Плющ. — Какой же ты тонкий, падула. Я и не предполагал.

Он попыхтел трубкой и задумался.

Выставки они от меня ждут. Вот все брошу... Хотя можно и выставку, если бы не... Одесса — это же заграница. Нужно разрешение на вывоз национального, падула, достояния. Это лет десять назад все было схвачено, в Министерстве культуры — без очереди.

— Сик... Что там с транзитом, Снежана?

— Каким транзитом?

— Который мунди.

— А... Так проходит слава мира. Ты о чем?

— Да так... Лелеев! Ты чего мышей не ловишь? Наливай.

— Так о чем все-таки?

Очень просто. Раньше слава была результатом деятельности. Что заслужил — то и маешь. Справедливо, несправедливо — неважно. А теперь что получается — эти потные мальчики и девочки корячатся в телевизоре, для того чтобы их гаишники знали в лицо?.. Интересное кино. Ладно. Одесса хочет выставки — будет ей выставка. Голый король называется. Я им интересен в качестве мифа. Завтра, ребята, поможете. А теперь — спать. Достали вы меня. Лелеев, приходи часа в два.

На полу мастерской Плющ разложил работы. Это были, в основном, почеркушки — эскизы, нашлепки, варианты. На картонках, на крафте и еще пес знает на чем. Акварелью, гуашью, акрилом.

Срезал с подрамников несколько старых небольших холстов.

— Значит, задача такая. Лелеев, у тебя интеллект среднестатистической внучки дошкольного возраста. Так вот, на обороте этих бумажек надо написать тексты: дорогому дедушке и так далее. Чтобы было понятно — на национальное достояние это фуфло не катит. Вот тебе фломастеры, вы-

бери поярче — и вперед. Я думаю, Одесса найдет бабки на паспарту и рамки. А несколько своих, резаных, я захвачу. Это можно.

Вечером пришла Снежана, и Плющ проследил, чтобы старинные его рубашки были выглажены тщательно.

На дно чемодана уложили картонки и холсты, на белые штаны — рулон с внучкиными автографами. Плющ наклонил голову — направо, налево, прищурился:

— Ничего, красиво получилось, — он закрыл чемодан. — Лелеев, дай мобильник, я недорого. Набери этот номер.

— Алло... Я проездом. Приходи завтра ровно в полдень в метро "Китай-город", под башкой. Это Плющик...

...Константин Плющ умер в середине ноября.

Желтая глина на сельском кладбище под Кимрами была усеяна белыми камешками, на нее и на черные деревья, и на черные фигуры падал белый снег. Плотная толпа стояла у могилы.

Карл пробрался вплотную. Окруженный цветами, Плющик выглядел строгим классным руководителем на празднике последнего звонка.

Шелестели по толпе легкие пошлости: "мухи не обидел...", "как он всем помогал...", "у нас художника ценят только после смерти..."

Карл пожал локоть Снежаны и выпутался из толпы.

У кладбищенской ограды заплаканный Лелеев одной рукой держал бородатого человека за грудки, а вторую, с тяжелым кулаком на конце, оттягивал вниз и назад.

— Кончай, князь, — бормотал бородатый. — Ну что ты устраиваешь!..

— Какой, в жопу, князь! — взревел Лелеев. — Я сраный разночинец!

По белому небу летали в разные стороны темные снежинки. Небо было такое белое, какое бывает только в стихах.

— Карл Борисович, — окликнули сзади, — подождите.

Зеленый дедушка ускорил шаг и оказался рядом.

— А вы разве знали Костика? — удивился Карл. — Хотя... наверное, по шахматному клубу?

— Да нет, не по клубу, — улыбнулся Дедушка. — Я с ним в шашки играл. В Чапаева. Давно, правда. Ну что, посоветуемся? Помянем?

Карл затаился в ожидании магической фляги.

— Нет, — сказал Дедушка. — Пойдем в магазин. Что он предпочитал, водку?

Карл огорчился и поплелся за Дедушкой, как пацан. Вот так всегда —

представишь себе что-нибудь чудесное, и все: на жизненные ситуации влиять уже не можешь, даже на самые пустяковые.

Дедушка шел быстро, и Карл запыхался.

Как трудно и неприятно быть вторым. Первым — не надо. Не по характеру, да и не по душе. Можно быть пятым, одиннадцатым, сотым. В толпе — пожалуйста, там ты один. Но вторым, ведомым — увольте...

— И долго, Дедушка, мне прикрывать тылы?

Дедушка сбавил шаг и хмыкнул:

— Обыкновенная гордыня. Вульгарис, — он покосился на Карла. — А вы думали, свобода?

— Я думаю, свобода, — упрямо ответил Карл.

Дедушка огляделся:

— Вот что. У магазина как раз автобусная остановка. До Кимр. Поедем ко мне.

Черная жижа из-под колес губила свежий снег по обочинам. Все десять километров автобус ревел, буксовал, исходил серым дымом, катился юзом.

Дедушка ловко выпрыгнул из автобуса и подал Карлу руку, как даме.

— Добить меня хотите? — кисло улыбнулся Карл.

В доме Дедушки был полумрак, лоснился под окошком крашеный пол. Посреди большой комнаты стоял квадратный стол под вязаной скатертью, шелковый абажур над столом...

Карл вздрогнул: все как в марсианском детстве.

Дедушка достал из темного буфета граненые лафитники, вынул из пакета бутылку водки и еще что-то.

— Вот, не обессудьте, пирожки с повидлом. Константин Дмитриевич их любил... Ну, царствие ему небесное...

— Это все я, — сказал Карл, надкусив холодный пирожок, осторожно, чтобы повидло не выпало. — Я должен был с ним поехать. Он меня ждал.

— И чем бы вы помогли? Снежана его благополучно привезла. А там — вы бы ему только мешали.

— Не в этом дело. Я побоялся ехать. Выходит, я перевел стрелки.

— Я вас понимаю, Карл Борисович. Но вы много на себя берете. Это вам не по силам, даже при желании, — Дедушка глянул весело. — Опять гордыня. Выпьем. Земля ему пухом. Вы обратили внимание? Первый снег сегодня. И часовня, как у Саврасова. Все, как он предполагал.

Дедушка помолчал.

— А смерти он боялся.

— Что же ее, любить, что ли? — удивился Карл.

— Любить... Как можно любить неизбежное? Нет, выбор должен быть. Любить, не любить, а доверять надо.

— Смерти?

— А кому же еще? Вот кто не подведет. И даже не опоздает. Вежливость королей...

Москва

P. S. В заключение — слово вдове Валентина Хруща, с которой он прожил в Одессе много лет — вплоть до отъезда из Одессы в Москву, матери его единственного сына.

Вика Хрущ сейчас живет в Израиле. Мы напечатали подборку ее стихов в 40-м номере альманаха.. Мне кажется, повторная публикация одного из них вполне уместна в контексте всего вышесказанного...

Вика ХРУЩ

* * *

Как долго нет на свете Вали...
Ушел однажды, не простился.
И я с покинутых развалин
Сорвалась перелетной птицей.

Я в сон чужой нечаянно попала.
Я в суету нырнула, чтоб не согнуть,
Чтоб задолбать непрошенную память.
Одна реальность — на стене картина.

Я время отодвину, как гардину;
Чай наливает гостю Хрущик.
Кувшин из глины на картине,
И по нему крадется лучик.

20 апреля 2009 г.
Бат-Ям

